

КРИТИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ СТАРЫХ ПЕРЕВОДОВ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Теперь перейдём к анализу переводов наиболее значимых творений А. С. Пушкина в исполнении И. Железновой. И, конечно, в начале приведём перевод хрестоматийного стихотворения **«Я помню чудное мгновенье...»**

Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолётное виденье, Как гений чистой красоты.	O wondrous moment! There before me, A radiant, fleeting dream, you stood, A vision fancy fashioned for me, A glimpse of perfect womanhood.
В томленьях грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты.	Through all life's sadness, all its flaunted But hopeless flurry and unrest Your lovely face my spirit haunted, Your tender voice my ear caressed.
Шли годы. Бурь порыв мятежный Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты.	Swift storms struck; o'er me wrathful breaking, They fast dispelled the dreams of yore. Your image blurred, my heart forsaking, Your voice caressed my ear no more.
В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья, Без слёз, без жизни, без любви.	In cold and gloomy isolation The years sped by, the lonely years, 'Thout deity, 'thout inspiration, 'Thout life itself, 'thout love or tears.
Душе настало пробужденье: И вот опять явилась ты, Как мимолётное виденье, Как гений чистой красоты.	And then – O bliss! – time's flight defeating, You came again and fore me stood, A vision radiant and fleeting, A glimpse of perfect womanhood.
И сердце бьётся в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слёзы, и любовь.	My heart is filled with sweet elation, Anew it craves, anew reveres, And is awake to inspiration, Awake to life and love and tears.

В этом опусе нас могут заинтересовать два-три момента – перевод основных поэтических образов. Это, во-первых, «как мимолётное виденье», во-вторых (и особенно), «как гений чистой красоты» и, в-третьих, «твои небесные черты».

Первый элемент, в принципе, головоломкой не является. Его можно передать как “all like a transient vision gleaming” (в переводе стоит “fleeting dream”, то есть «мимо летящая / быстро исчезающая мечта», что не передаёт истинную интонацию оригинала).

Второй элемент «как гений чистой красоты» (заимствованный Пушкиным у В.А.Жуковского) являет некоторые трудности. Перевод даёт формулу “A glimpse of perfect womanhood”, то есть «проблеск совершенной

женственности». Едва ли можно смириться с “glimpse” («проблеском»), ибо это – «мелькание, краткое, мимолётное впечатление», «намёк»... “Perfect womanhood” также не дотягивает до «гения чистой красоты».

Самое главное – в том, что перевод игнорирует напрочь термин “beauty” («красота»), что можно считать роковым пороком перевода. Всё-таки понятие «женственности» в большей мере соответствует взрослой, сформировавшейся женщине, тогда как предмет восторга поэта – 17-летняя девушка. Не мудрствуя лукаво, даём самый, пожалуй, близкий оригиналу вариант: “Like beauty’s pure and holy guise”.

Наконец, «твои небесные черты». Напрашивается самый естественный оборот: “the godlike sweetness of your traits”.

А выражение «в тревогах шумной суеты» намного лучше для английского уха прозвучит словами “midst mundane cares and alarms”.

Следующий перевод, который интересно разобрать: **«Брожу ли я вдоль улиц шумных».**

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Whether the streets I roam or enter
A crowded church, or spend the night
In boisterous company – no matter! –
My thought pursues its restless flight.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдём под вечны своды –
И чей-нибудь уж близок час.

This do I think: swift is life’s passage,
And all of us now gathered here
Will glimpse ere long Death’s dreaded visage;
Already someone’s hour draws near.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживёт мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Upon an ancient oak tree gazing,
I whisper, awed: “When I am gone
’Twill still be here, the woodland gracing;
My fathers went – the tree grows on!”

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю;
Мне время тлеть, тебе цвести.

And playing with a child, I murmur:
“Farewell!.. My place I cede... The hour
Is close at hand – My life is over –
For me to rot, for you to flower.”

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

Each day, each year that passes, transient,
I follow mute to its decline,
The moment of my doom, impatient
And fearful trying to divine.

И где мне смерть пошлёт судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладельный прах?

Will I be claimed by death in warfare?
Whilst on my travels? Mid the waves?
Or will a neighbouring valley offer
My cold remains a quiet grave?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,

Where to be laid in sleep eternal
Is all the same to lifeless clay.

Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

Yes 'tis beneath the skies maternal
That I would tranquil rest for aye.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Let Life, Young Life with joy unbounded
Above my tomb play on and flow,
And Beauteous Nature all around it,
Serene, unmoved, for ever glow.

В переводе 1-го катрена отсутствует определение «шумный». Слово “church” следует заменить на “shrine”, а слово “crowded” («переполненный, битком набитый») лучше бы заменить на “populous” («многолюдный», то есть как у Пушкина и есть). Выпало по непонятной причине «сизу меж юношей безумных» (здесь очевиден пушкинский намёк на декабристов).

1-я строка 2-го катрена говорит о краткости жизни (в оригинале «промчатся годы», в переводе – “swift is life’s passage”), однако трактовки автора и переводчика «И сколько здесь ни видно нас...» существенно расходятся. Пушкин говорит не только о тех, кого мы видим именно здесь “gathered here”, («собрался здесь»), а о людях всей планеты – надо было сказать “And howe’er many we appear”). В переводе отсутствуют «вечные своды» (“vaults eternal”) – крупное художественное упущение. Зато далее – крайне странное замечание о том, что все мы “Will glimpse ere long (?) Death’s dreaded visage”...

В 3-м катрене пропало выражение «патриарх лесов». Переименовано выражение «переживёт мой век забвенный». Вместо нужного глагола “outlive” используется детский оборот: “my fathers went, – the tree grows on!”. Кстати, сколько “my fathers” было у автора перевода?

В 4-м катрене рифма “bb” – женская, тогда как во всём опусе она – мужская.

В 5-м катрене лишними являются слова “transient” («преходящий»), а также слово “mute” («немой»). Особенно одиозно и некстати вставлено переводческое слово “impatient” («нетерпеливый»). Невольно напрашивается мысль, что человек с нетерпением пытающийся угадать дату своей смерти, с таким же нетерпением ждёт этой даты.

Катрен 7. Выражение «ближе к милому пределу» следует, очевидно, трактовать как «ближе к живым людям» – всё это, в принципе, правильно, хотя выражение “beneath the skies maternal” придумано автором перевода от себя.

В 8-м катрене у переводчика сказано: «пусть Жизнь, Молодая Жизнь» будет с «безграничной радостью» (с чего бы это?!) над моей гробницей (“Above my tomb”) играть и течь...» Обратите внимание, в объятиях «безграничной радости» предлагается играть прямо «над моей гробницей»... Не у гробового входа, а именно над могилой!

Знаменитое пушкинское выражение «у гробового входа» исчезло напрочь, а это один из самых экспрессивных образов опуса. И вообще, как можно играть над чем-то?

Ещё один пушкинский шедевр. Стихотворение было написано в 1829 году во время поездки поэта на театр военных действий в Закавказье. Тогда Пушкин был безнадежно влюблен в Наталью Гончарову. Он ещё не надеялся на брак с ней, но никто не мог запретить ему любить Наталью, восхищаться ею, посвящать ей стихи.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

Upon the hills of Georgia lies the haze of night...
Below, Aragva foams... The sadness
That fills the void of days is, strangely, half delight,
'Tis both sweet pain and sweeter gladness.
Because you haunt my heart, it cannot be at rest,
And yet 'tis light, and untormented
By morbid thoughts... It loves... It loves because it must,
And, for all that, remains contented.

Даём дословный перевод английского текста:

На холмах Грузии лежит дымка ночи...
Внизу пенится Арагва... Печаль,
Которая наполняет пустоту дней, как ни странно, наполовину – восторг,
Это сладкая боль, и ещё более сладкое удовольствие.
Потому что ты постоянно в моём сердце, оно не может быть в покое,
И всё же оно легко, и его не мучают
Мрачные мысли... Оно любит... Оно любит, потому что оно должно,
И, при всём том, остаётся довольным.

Первые две строки перевода не вызывают возражений, далее идёт произвол, который ничем не украшает перевод. Так, у Пушкина всё сосредоточено на обобщённых понятиях («печаль», «уныние»), которые никто не возьмётся «расшифровывать». Поэт не определяет и не называет смысловых граней чувства, живущего в его сердце. Есть другое: «печаль», которая «светла», ибо «полна тобою»...

Что внедряется переводчицей в этот общий фон, которого вполне достаточно? Фигурирует «пустота дней» (“void of days”) – типичная «отсебятина», несовместимая с фоном, когда поэт полон любимой женщиной (ничего себе «пустота»!). Далее, в тексте перевода есть «восторг», который, как выясняется, есть «половина» печали.

Есть ещё два «вторженца» – «сладкая боль» и «и ещё более сладкое удовольствие». Налицо явное стремление переводчицы «расшифровать» печаль, чего категорически сторонится поэт. Пушкин не идёт на такую «операцию», ибо словесное определение невыразимого в словах и невозможно, и глупо. Тут ничего не нужно, кроме «светлой печали», она говорит сама за себя.

Концовка этого стихотворения в переводе содержит странную мысль, что сердце любит потому, что «оно должно» (“it must”). Сказать, что любящее сердце *должно* гореть – это психологическая несуразица.

У Пушкина торжествует *стихийная* воля сердца. Любовь проявляет себя по закону такого стихийного естества, а не под диктатом чего бы то ни было. “Must” абсолютно неуместно там, где властвует неистребимость чувства. Именно это и выражено в последних двух строках оригинала, и можно сказать, что среди пушкинских «гениальностей» эти две строки можно назвать «сверхгениальными».

А теперь обратимся к стихотворению, известному всем и каждому в России со школьных лет. Оно было написано поэтом в 1829 году и посвящено блестящей красавице того времени Каролине Собаньской:

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем!

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

I loved you, and that love, to die refusing,
May still – who knows! – be shouldering in my breast,
Pray be not pained – believe me, of my choosing
I’d never have you troubled nor distressed.

I loved you mutely, hopelessly and truly,
With shy yet fervent tenderness aglow;
Mine was a jealous passion and unruly...
May Heaven grant another will love you so!

В этом многократно положенном на музыку опусе каждое слово – на вес золота, а потому от выбора средств изложения в целом и в деталях зависит буквально всё.

В первых 2-х строках перевода мысль о том, «жива ли» у поэта любовь, выражена двумя способами, что отнюдь необязательно и даже вредно, если учесть миниатюрность опуса (всего 8 строк). С одной стороны, эта любовь “to die refusing” («отказываясь умирать», как будто кому-то хочется умирать!), а с другой стороны, она «может быть (кто знает!) всё ещё тлеет в моей груди». У Пушкина, кстати, нет мысли о том, что любовь «отказывается умирать». Если

это так, то отказ от умирания, по логики вещей, требует *упорствования* в любви, а этого в стихотворении нет, – поэт смирился с неизбежным и не хочет беспокоить или причинять страдания любимой.

Шестая строка перевода “With shy yet fervent tenderness aglow” буквально означает «с робкой, но пылкой нежностью горя». Она едва ли уместается в чувства поэта, ибо здесь говорится о *пылкой* нежности, то есть об активной, напористой нежности, что противоречит настроенности поэта больше не печалиться и не тревожить любимую своим чувством. Во-первых, пылкая нежность – это, по сути, явная страсть, а, во-вторых, термин «нежно» появляется у А. Пушкина в другом контексте (предпоследняя строка), где соединяются искренность и нежность, а не пыл и нежность. Тут всякий нажим на степень силы чувства может обернуться для данного стихотворения психологическим крахом. Пушкин выбирает смягчённые выражения, ибо о страсти говорить уже поздно, без риска вызвать раздражение у любимой.

Есть тут ещё один термин у переводчицы, относящийся к страсти (“passion”), которая угасает, а атрибут, применённый к страсти (“unruly”), то есть «непокорная, буйная, бурная» ещё раз указывает на нагнетание в переводе совершенно *излишне* пылких эмоций, о которых поэт не говорит, ибо это и напрасно, и нетактично.

Последнее, что следует отметить, – это завершающий штрих перевода: «пусть небеса даруют, что другой будет любить тебя так». В подлиннике акцент делается не на «другом», а на женщине («дай вам Бог *любимой* быть другим»), то есть снова говорится об *объекте* любви, а не о другом субъекте.

Детали типа “who knows!” и “of my choosing” – это реакции самой переводчицы...

Было бы весьма трудоёмким делом привести все фрагменты, где господствует система прыжков-перескоков («анжамбеманов») – их множество. Поразительно другое: есть фрагменты, где «девчачья игра» в «скакалочке» приобретает права диктата. Возьмём перевод стихотворения 1829 года «**Надеждой сладостной младенчески дыша...**»:

Надеждой сладостной младенчески дыша,
 Когда бы верил я, что некогда душа,
 От тленья убежав, уносит мысли вечны,
 И память, и любовь в пучины бесконечны, –
 Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
 Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
 И улетел в страну свободы, наслаждений,
 В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
 Где мысль одна плывёт в небесной чистоте...

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
 Мой ум упорствует, надежду презирает...
 Ничтожество меня за гробом ожидает...
 Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
 Мне страшно!.. И на жизнь гляжу печален вновь,

И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.

Filled child-like with sweet hope, if but I could believe
That, fleeing dark decay, my soul might one day leave
Earth's bounds and to a void, unplumbed and termless, carry
Thought, memory and love – I vow that I would tarry
Not long in this our world: that ugly idol, life,
I would destroy and fly to parts where freedom's rife
And bliss; where death is not, nor prejudice; where drifting,
On, on, through time and space in perfect purity...

Alas! Vain are these dreams; they tease and baffle me;
My stubborn brain revolts and dulcet hope despises;
Beyond the grave, it says, waits nothingness... There rises
At once in my mind's eye a fearful vision of
Nonbeing... What – no thought, no feeling, no first love?..
Ney, live I most – live long – that, deep within me flaming,
Love's image might endure, my joyless spirit claiming.

На 16 строк – 7 анжамбеманов, почти половина! Великого теоретика стихосложения XVII века француза Николя Буало такая картинка с литературной выставки довела бы до психической травмы. Обратите внимание на то, что в эту систему вовлечена даже частица “of”, и сие далеко не единственный пример использования этой несчастной частицы в «спортивно-поэтических» целях... Переводчица позаботилась о том, что это частица не «одна плывёт в небесной чистоте...».

Приведём перечень анжамбеманов: “carry // Thought”, “tarry // Not long”, “life // I would destroy”, “freedom's rife // And bliss”, “drifting // On, on...”, “There rises // At once in my mind's eye”, “vision of // Nonbeing...”.

Ещё пример «варварского» построения перевода с употреблением анжамбеманов:

ПОЭТ

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта востепенётся,
Как пробудившийся орёл.
Тоскует он в забавах мира,

THE POET

The bard, when asks of him Apollo
No sacred offering is deep
In wordly cares ere long, and follows
A dismal road; dark, numbing sleep
His soul embraces: no sound reaches
Us from his lyre – mute does it rest;
Of all earth's mean and paltry creatures
He is, perhaps, the paltriest.

But lo! – the good god's voice his ear
Has reached, and from his torpor parted
Is he, his soul an eagle startled
And on the wing. Our pleasures drear
Now seem to him; so too does idle

Людской чуждается молвы,
 К ногам народного кумира
 Не клонит гордой головы;
 Бежит он, дикий и суровый,
 И звуков и смятенья полн,
 На берега пустынных волн,
 В широкошумные дубровы...

And petty talk. He'll not his head
 Bow in obeisance to an idol,
 The darling of the herd. Instead,
 Full of sweet sounds, in wild confusion
 Of heart, to distant, lonely seas
 That lick at empty shores he flees,
 In windswept forests seeks seclusion...

Учитывая большое количество анжамбеманов в тексте этого небольшого произведения, ограничимся перечислением этих порочащих поэзию элементов: "is deep // In wordly cares", "no sound reaches // Us from his lyre", "his ear // Has reached", "parted // Is he...", "so too does idle // And petty talk", "not his head // Bow in...", "confusion // Of heart".

Поскольку перевод выпал за рамки переводческого искусства, анализ «начинки» его представляется бесперспективным.

Посмотрим теперь, что вышло из-под пера «замечательного современного переводчика Адриана Рума» в одном из двух маленьких фрагментов, вписанных Пушкиным в альбом Анны Петровны Керн (1828 г.):

Оригинал	Перевод А. Рума
Мне изюм	Candied peel
Нейдёт на ум.	I fail to feel,
Цукерброд	Almond paste
Не лезёт в рот.	Is not my taste,
Пастила нехороша	Apple tart is hard to start
Без тебя, моя душа.	When we're apart, my sweetest heart

Дословный перевод опуса А. Рума

Цукаты
 Я не могу чувствовать,
 Миндальная паста
 Мне не по вкусу,
 Яблочный торт трудно начать,
 Когда мы врозь, моё сердце.

ся восхитительная оригинальность этого опуса в английском варианте заключается в том, что от Пушкина тут решительно ничего не осталось. Вместо «религиозного философа», как Пушкина иногда аттестует английское литературоведение, мы видим рафинированного субъекта, «раздетого до нитки»... Как говорил один русский писатель, «ври, да знай же меру».

А ведь положение было отнюдь не безнадежное, что касается истинной пушкинской образности. Попытаемся дать возможный вариант:

Raisins sweet
 Seem quite unfit,
 Zukerbrot

Sticks in my throat,
Pastila gives me no glee,
My dear heart, without thee.

Почтенный Адриан Рум мог бы дать “room” (пространство) хотя бы для «пастилы», до которой поэт был большой охотник. Хотя едва ли Адриан Рум реально знает, что такое пастила. На всякий случай подскажем ему: «пастила» это кондитерское изделие из фруктоягодной массы и сахара, обычно с добавлением яичных белков. Во времена римского императора Адриана пастилы, конечно, не было, но современные словари к услугам современных Адрианов: они этот термин имеют – “fruit fudge” (не совсем точно) или просто “pastila”. Пушкин мог бы подсказать англичанам, что это такое. Увы!

Что касается изюма, то это тоже для перевода, как говорится, «не фунт изюма». Но тут не только ни «фунта изюма», но даже ни единой «изюминки» нет...

Basta!

— * * * —